

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ В КРАСНОДАРЕ В 1928 Г.: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ВЛАСТИ И МОЛОДЕЖИ¹

.....

Рожков А. Ю.

Рожков Александр Юрьевич, Кубанский государственный университет,
350040, Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Ставропольская, 149.
Эл. почта: avro14@mail.ru.

В статье описывается и интерпретируется массовый протест учащихся школ и вузов г. Краснодара в марте 1928 г. в связи с приговором суда по «делу Синдаровского». Источниками данных служат документы ОГПУ, партийных и комсомольских органов, газетные публикации, мемуары участников протеста. Настоящий кейс рассматривается через исследовательскую «оптику» культурной истории эмоций, которая позволяет понять прошлое как мир чувств и эмоциональных переживаний. В центре внимания автора находятся системы чувств двух «эмоциональных сообществ», участвующих в тех событиях — официальной власти (партийные, профсоюзные, комсомольские органы и функционеры, сотрудники органов правопорядка, руководство вузов) и учащихся (со всеми особенностями их небольших общин в каждом учебном заведении).

Анализ официального дискурса власти, дискуссий на партийных и комсомольских собраниях, а также показаний студентов на допросах показал, что высшая судебная власть, в отличие от местной, пользовалась большим доверием у части молодежи. Партийная власть и органы ОГПУ во взаимоотношениях с молодежью оказались не готовы потерять патерналистский статус «строгого отца». Эмоциональные ценности власти и части студенческой молодежи разместились в разных системах координат. Эти две разные культуры демонстрировали различие в эмоциональных оценках, причем власть подала молодежи явный сигнал к изменению эмоциональных стандартов в сторону «строгости чувств». Нельзя не заметить и различий в природе взаимного страха. Страх власти в отношении части молодежи был сконструирован когнитивно, тогда как природа молодежного страха в отношении власти представляла собой аффективно-когнитивную структуру.

Ключевые слова: Краснодар, «дело Синдаровского», «чубаровцы», студенческий протест, «эмоциональные сообщества».

Три дня, с 23 по 25 марта 1928 г. (с пятницы по воскресенье), студенческий Краснодар бурлил. Здесь произошли события, о которых не сообщала тогда ни одна из местных и центральных газет. На улицы города вышло несколько тысяч протестующих студентов вузов и техникумов, школьников старших классов. В их рядах было немало преподавателей. В учебных заведениях проходили

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (исследовательский проект РГНФ № 14-01-00239 «Чувства под контролем: повседневность провинциального города 1920–1930-х годов в ракурсе культурной истории эмоций»).

митинги и собрания учащихся. На стенах вузов и техникумов были расклеены листовки-воззвания. Волнения учащихся были напрямую связаны с только что завершившимся судебным процессом по делу так называемых «краснодарских чубаровцев» (Чубаровщина, 1927; Naiman, 1990; Лебина, 1999).

Немногим позже в партийной прессе, официальных материалах о «контрреволюционной молодежной организации» в Краснодаре эти события станут маркироваться как организованная попытка «реакционного учительства и профессуры», беспартийных студентов и школьников отменить решение суда и сорвать применение сурового, но справедливого приговора в отношении «краснодарских чубаровцев». Однако доступные нам источники дают возможность существенно скорректировать и дополнить столь однобокую интерпретацию событий, описать и понять этот неоднозначный кейс более обстоятельно.

Фабула случая

Рассматриваемый случай начался с криминальной драмы, официальная версия которой до сих пор вызывает много вопросов (Рожков, 2004). По этой версии, вечером 25 января 1928 г. якобы после неудавшейся попытки изнасилования была убита и сброшена в реку Кубань 16-летняя школьница З. Крылова, приглашенная тремя знакомыми ей юношами на пикник (Краснодарские чубаровцы, 1928). Следствие установило, что этими юношами являлись 21-летний студент Кубанского сельскохозяйственного института Г. Синдаровский, 18-летний ученик школы № 6 П. Мамрак и 17-летний И. Гавриленко, бывший учащийся той же школы. Через месяц тело жертвы будто бы было обнаружено в 35–40 км вверх по течению реки.

До сих пор доподлинно неизвестно, что произошло в тот январский вечер на берегу Кубани — несчастный случай или тяжкое преступление. Однако стигматизация обвиняемых как «краснодарских чубаровцев» началась в местной прессе еще задолго до начала судебного следствия, что указывает на предвзятый характер расследования. Вначале уголовное дело было квалифицировано как убийство при попытке изнасилования (максимальный срок наказания — 10 лет лишения свободы), но через несколько дней без веских оснований следователь Адыгее-Черкесского областного суда неожиданно переквалифицировал обвинение по «расстрельной» статье 59–3 УК РСФСР (бандитизм). Пресса нагнетала «чубаровскую» истерию в обществе, поэтому решение суда было предсказуемым: Синдаровского и Мамрака приговорили к расстрелу, а несовершеннолетнего Гавриленко — к 7,5 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет.

Пока адвокат подсудимых Н. Н. Луганский готовил кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР, учащиеся вузов и школ Краснодара, не веря в причастность этих юношей к преступлению, на следующий день после суда начали акции протеста против «пролития безвинной крови». Мы к этому вернемся после необходимых теоретико-методологических и процедурных пояснений.

«История эмоций» как направление cultural studies

Об «эмоциональном повороте» в западной историографии заговорили сравнительно недавно, с 1990-х гг. Примерно в этот же период «эмоциональный бум» затронул философию, литературоведение, музыковедение, социологию, культурную антропологию, культурную историю и другие дисциплины (Плампер, 2010). В России это направление пока еще в самом начале пути, точкой отсчета которого по праву стоит считать международную конференцию «Эмоции в русской истории и культуре» (Москва, 2008).

Первые работы в области истории эмоций на Западе начали появляться со второй половины XIX в. Я. Буркхардт (1860), Ф. Ницше (1882), Й. Хейзинга (1919), Н. Элиас (1939) и другие авторы подходили к рассмотрению выражения сильных эмоций (гнев, зависть, любовь, совесть, жестокость и т.д.) в основном на материалах Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. В 1940 г. Л. Февр произнес свой доклад-манифест «Чувствительность и история», первым призвав историков целенаправленно изучать эмоции в прошлом (Февр, 1991). С тех пор специалисты выделяют три парадигмы в истории эмоций на Западе, соответствующие трем периодам её становления и развития: универсализм (1940–1980); социальный конструктивизм (1980–1995); синтез универсализма и социального конструктивизма (с середины 1990-х гг.) (Плампер, 2010; Rosenwein, 2010; Хмелевская, 2012).

Вплоть до 1980-х гг. эмоции в истории рассматривались «универсалистами» преимущественно как биологически обусловленные иррациональные и неструктурированные феномены, как постоянные величины («базовые» эмоции). В середине 1980-х гг. американские модернисты П. Стернс и К. Стернс основали новое направление в исследовании эмоциональных норм и стандартов — «эмоциология», фактически превратив историю чувств в самостоятельное исследовательское поле. Конструктивистская парадигма, в отличие от универсалистской, рассматривала эмоции как культурно и исторически обусловленные величины. Однако, как справедливо полагает Б. Розенвейн, универсалистский и презентистский подходы к эмоциям достаточно спорны, чтобы помочь появиться истории, посвященной изучению эмоций (Rosenwein, 2010). Современный этап, являющийся методологическим компромиссом, возник, с одной стороны, по причине последних достижений в экспериментальной нейробиологии и когнитивной психологии, с другой — связан с неспособностью конструктивистов решить проблему взаимодействия между меняющимися эмоциональными характеристиками людей и меняющимися историческими обстоятельствами, в которых они находились. В упрощенном виде современная синтетическая концепция рассматривает эмоции как состоящие из какой-то «неизменной основы и некой культурной оболочки» (Плампер, 2010). Таким образом, за 75 лет совершен стремительный прорыв в современном гуманитарном знании, результатом которого стало выделение культурной истории эмоций в самостоятельное

направление историографии. Данное направление не стоит на месте, одним из подтверждений чего является набирающая силу полемика об «эмоциональном» и «аффективном» поворотах в *cultural studies* (Николаи, Хазина, 2015).

С начала 2000-х гг. стали появляться работы, внесшие существенный вклад в разработку теоретико-методологических оснований и заметно пополнившие понятийный аппарат истории эмоций (понятия «эмотив», «эмоциональный режим», «эмоциональное сообщество», «эмоциональное страдание», «эмоциональное убежище» и др.). Прежде всего, речь идет о фундаментальных работах У. Редди и Б. Розенвейн (Reddy, 2001; Rosenwein, 2007; Rosenwein, 2010). Одним из ключевых методологических принципов культурной истории эмоций стал тезис о том, что она имеет мало общего с пониманием эмоций в естественных науках. М. Стейнберг небезосновательно утверждает, что для интерпретации чувств наиболее плодотворным представляется изучение не физиологических и нейробиологических аспектов эмоций, а взаимодействия и переплетений чувств и культуры, языка, истории, общества, власти, т.е. социальное конструирование эмоций. Исходя из этого, выражение эмоций в «эмоциональном сообществе» может быть проанализировано как социальная практика (Стейнберг, 2010). Б. Розенвейн также полагает, что следует рассматривать социальную роль эмоций, прочитывать их как социальные взаимодействия (Rosenwein, 2010). «Обычные» сообщества (семья, трудовой коллектив, студенческий курс, соседи, члены профсоюза и т.д.) в этой концепции рассматриваются через систему чувств, групповых эмоций, которые теперь становятся главным объектом анализа.

Источники и методы интерпретации

Как обычно бывает в микроисторических исследованиях, при изучении настоящего кейса обнаружился дефицит прямых источников, что актуализировало «уликовую парадигму» К. Гинзбурга (Гинзбург, 2004). Вместе с тем стали доступны для анализа некоторые документы ОГПУ: архивно-следственное дело «Антипартийный комитет» и обзор по нему, где отдельное внимание уделено студенческому протесту. Особый интерес представляют также автобиографический очерк Г. Синдаровского «Моя жизнь», его письмо начальнику Кубанского окружного отдела ОГПУ С. Н. Миронову, протоколы допросов инициаторов протеста и обвинительное заключение по уголовному делу. Не менее информативны протоколы партийных и комсомольских органов краснодарских вузов, воспоминания участницы протеста В. И. Коваленко. Ход судебного процесса достаточно подробно освещался в окружной газете «Красное знамя». В целом корпус источников позволяет провести интерпретационные процедуры, релевантные для микроанализа случая в ракурсе истории эмоций.

Кейс анализируется в методологических рамках интерпретативного подхода с применением понятийного аппарата и методов истории эмоций (Reddy, 2001; Rosenwein, 2007; Rosenwein, 2010). Сама фабула этого случая являет собой острый

конфликт, который сопровождался повышенным эмоциональным накалом. Но нас будет интересовать не столько внешнее выражение аффектов сторонами этого конфликта, сколько раскрытие *систем чувств* двух основных «эмоциональных сообществ», участвующих в тех событиях. К ним я отношу официальную власть в широком смысле, состоящую из разных микросообществ (партийные, профсоюзные, комсомольские функционеры, сотрудники органов правопорядка, руководство вузов) и учащихся (студентов и школьников) — со всеми особенностями их небольших общин в каждом учебном заведении. Нас особенно будет интересовать, какие эмоциональные нормы существовали в этих сообществах: что было приемлемым и неприемлемым для данного сообщества в целом и его членов в отдельности, насколько искренними были эмоции, в каких терминах и метафорах, передающих чувства (эмотивах), выражалось эмоциональное состояние людей.

Ш. Фицпатрик совершенно точно подметила, что «у историка, изучающего эмоции, два пути — прочитать то, что написано в дневниках, письмах и мемуарах и проанализировать языковые особенности, учитывая, как определенные внешние условия влияют на выражение эмоций. Другой путь более сложен, так как требует определенных условий — это наблюдение над тем, как люди проявляют свои эмоциональные состояния в определенной ситуации, при соблюдении ритуалов» (Фицпатрик, 2014). Настоящий кейс, несомненно, диктует второй путь, в отличие, например, от описания переживаний юного арестанта ОГПУ (Рожков, 2015).

Из «чубаровцев» — в «контрреволюционные щенки»

Аффективная реакция любой власти в отношении бунтов (в частности, студенческих) вполне предсказуема и в целом понятна. Тем любопытнее высказывания представителей партийной номенклатуры, прозвучавшие через несколько месяцев после краснодарских событий, когда накал страстей, казалось, должен был давно пройти. Наиболее ярко позиция власти представлена Генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ А. Мильчаковым, который в начале 1920-х руководил комсомолом Северного Кавказа и хорошо знал обстановку на Кубани. В одной из пропагандистских брошюр он пишет: *«В краснодарских учебных заведениях поднялась большая шумиха, начались митинги в пользу арестованных; они — эти контрреволюционные щенки — встречали поддержку среди известного слоя учащихся и преподавателей»* (Мильчаков, 1928).

Заметно, что даже через время Мильчаков не может скрыть раздражение от краснодарских волнений. Уничижительная метафора *«контрреволюционные щенки»* выдает задетое самолюбие вождя комсомола, его гнев и ярость, желание унижить и оскорбить оппонентов. Еще более откровенно (и не менее эмоционально) он высказался на пленуме ЦК ВЛКСМ 26 октября 1928 г.: *«... когда ликвидировали эту организацию и арестовали ее главарей, то в краснодарских учебных заве-*

днях прошла волна сотен, буквально сотен митингов студенческой учащейся молодежи в пользу их освобождения, причем комсомольская организация <...> потерялась среди этой активной массы, и в Краснодаре, на одиннадцатом году существования Советской власти, росло массовое студенческое движение по поводу ареста контрреволюционеров, террористов и убийц, это движение захватило сотни студенческой молодежи и выросло в общегородскую демонстрацию против Советской власти» (РГАСПИ, л. 56–57).

Здесь мы видим ловкую риторическую игру в подтасовывание фактов («*сотен митингов*» — явная гипербола) ради мобилизации комсомольского актива. Если прежде «щетки» у Мильчакова были только «контрреволюционные», то теперь он клеймит идейного врага не менее весомыми ярлыками — «главари», «террористы», «убийцы». Что же стоит за политизированным креном в риторике Мильчакова о сугубо уголовном деле? Дело в том, что через два месяца после мартовского суда краснодарский процесс действительно трансформировался из бытовой «чубаровщины» в громкое политическое дело о «контрреволюционной организации» молодежи «Антипартийный комитет» во главе с Г. Синдаровским. Лукавство Мильчакова в том, что в ходе студенческих волнений дискурс о протесте еще не имел «контрреволюционных» коннотаций, и ни о каких «организациях» и «главарях» речь вообще не шла. Напротив, именно массовый протест молодежи и послужил импульсом к превращению уголовного дела «краснодарских чубаровцев» в «контрреволюционное» дело по 58-й статье УК.

В обвинительном заключении по делу «Антипартийный комитет», составленном в Кубанском окружном отделе ОГПУ, эпизоду с протестом студентов было отведено особое место: *«В связи с вынесением ВМСЗ² Синдаровскому и Мамраку среди студенчества и учащихся Краснодара стали распространяться слухи о том, что осужденный Синдаровский Георгий осужден невинно, т.к. последний в убийстве не участвовал, а был только свидетелем. В то же время находящиеся в тюрьме Синдаровский, Гавриленко и Мамрак <...> передали из тюрьмы свои письма, в которых первый, обращаясь к студентам и учащимся Краснодара, указывает, что он не чубаровец и чубаровцем себя не считает. <...> На другой день, 24.III вопрос о необходимости как-то реагировать на якобы неправильный приговор суда по делу Синдаровского охватил большинство вузовской и учащейся молодежи. <...> Утром 25 марта в районе сельхозинститута и мединститута, а также здания индустриального техникума были обнаружены расклеенные листовки-воззвания с призывом молодежи организовать “в день убийства Синдаровского” и выйти на улицу на демонстрацию в знак протеста» (АУФСБ КК, л. 159–160).*

Сдержанный тон обвинительного заключения продиктован жанром документа, предназначенного для публичного оглашения в суде. Однако в секретном обзоре полпреда ОГПУ на Северном Кавказе Г. Е. Евдокимова по агентурно-

² ВМСЗ – высшая мера социальной защиты (расстрел).

следственному делу «Антипартийный комитет» чекисты не скрывали истинную причину своего вмешательства в накаляющуюся ситуацию: «В связи с тем, что движение против приговора начало принимать явно антисоветскую форму, и грозило нормальной работе вузов и техникумов, Кубокротдел ОГПУ с нашей санкции произвёл изъятие четырёх активистов³» (ЦДНИРО, л. 16). В чем чекисты увидели «явно антисоветскую форму» поведения учащихся, сказать трудно. Из документов ОГПУ следует, что в ходе протестов не было зафиксировано ни антисоветских лозунгов, ни призывов к свержению власти, к вооруженному восстанию и т.д. Чувство жалости к подсудимым и стремление студентов к торжеству справедливости еще не означало недоброжелательности к власти. Волнения краснодарских студентов в 1928 г. прошли очень мирно и цивилизованно (в отличие от массовых беспорядков в январе 1961 г. в том же Краснодаре или в июне 1962 г. в Новочеркасске (Козлов, 2006; Янг, 2010)). Вероятно, сам факт возмущения студентов приговором *советского* суда расходился со сложившимся за 10 лет советской власти режимом выражения «правильных» эмоций. Не менее очевидно и патерналистское представление власти («социального отца») о границах и нормах проявления чувств со стороны «детей», априорно предполагающее их безусловную покорность.

Из этих документов можно сделать вывод о косвенных признаках эмоционального режима, который сложился в стране и в регионе: выражать свои чувства, проявлять эмоциональную реакцию в отношении советской власти и ее институтов позволялось только в позитивном ключе (восторг, одобрение, радость). Гнев, возмущение, презрение, несогласие с властью и недовольство ею исключались. Но против ли советской власти был этот студенческий протест? Закономерен также и вопрос, навеянный методологической репликой Б. Розенвейн: «“злая толпа” — злая она по мнению тех, кто находится в толпе, или потому, что так ее описывают враждебные наблюдатели?» (Rosenwein). Примерно о том же высказался П. Хаттон в споре с концепцией «истории, написанной победителями», подразумевая под этим, что известная нам письменная история отражает намерения заказчиков этих текстов, а не действительную ситуацию социальной жизни (Марков, 2014). Попытаемся установить, насколько интерпретация событий органами власти соответствовала показаниям участников с другой стороны.

«Без нашего ведома, но от нашего имени»

Студенческое «эмоциональное сообщество» Краснодара 1920-х гг. было довольно пестрым. Мы рассмотрим мнения только некоторых его представителей, отражающих определенные группы, и здесь будет трудно не заметить совершенно другой, отличной от власти, системы чувств. Начну с эпизода обвинительного заключения о письмах-воззваниях Синдаровского к учащимся, переданных

³ Арестованными оказались три студента краснодарских вузов (С. Кумурджи, В. Морев, И. Гнедич) и слушатель подготовительных курсов В. Савченко.

(С. Кумурджи, В. Морев, И. Гнедич) и слушатель подготовительных курсов В. Савченко.

из тюремной камеры. Замысел обвинения понятен: дискредитировать в общественном мнении Синдаровского и других фигурантов не только как «убийц и насильников», но еще и как жалких трусов, взывавших к студенчеству из-за тюремной решетки с мольбами о помощи. Однако вот что сам Синдаровский сообщает о своем письме на допросе: *«Принесший передачу Кумурджи просил написать письмо к учащимся города, и я сверх передачи положил одну написанную в ту же минуту страничку»* (АУФСБ КК, л. 53).

Выходит, что не Синдаровский инициировал обращение к учащейся молодежи, а его приятель по сельхозинституту Кумурджи. Но ведь Синдаровского, «блестящего студента, гордость сельхозинститута» (Коваленко), лично знали далеко не все учащиеся Краснодара. Могла ли только сила его слова, даже искреннего и эмоционального, сыграть роль детонатора молодежного недовольства? Вряд ли, иначе подобные акции протеста были бы обыденной нормой, а не «исключением из нормального» (Э. Гренди). Тогда что же побудило молодежь собраться на митинги и выйти на улицу? Одну из версий ответа на этот вопрос дает в своих показаниях студент пединститута Д. Соболевский: *«Процесс, как известно, предполагался показательным. Но затем три обстоятельства сразу вызвали недовольство в среде студенчества: 1) процесс шел не показательным, студенчество на него не попало; 2) общественное обвинение, выдвинутое профкомом или партячейкой КСХИ <...> в лице Ждан-Пушкина не было уполномочено даже общестуденческим собранием КСХИ. <...> 3) И это самое главное — Ждан-Пушкин, по существу, без нашего ведома, но от нашего имени на судебном процессе требовал высшей меры. Я категорически должен заявить, что волнение студентов, имевшее место на следующий день после вынесения приговора <...> несомненно имело массовый характер. <...> Протест был направлен не против суда, а против необоснованного выступления Ждан-Пушкина, против обхода студенческой массы студорганизациями, против своеобразного “превышения власти”, которое позволил себе Ждан-Пушкин»* (АУФСБ КК, л. 123–124).

И. Гнедич, один из четырех «изъятых» ОГПУ активистов студенческого протеста, весьма эмоционально подтверждает слова Соболевского: *«Когда Краснодар заволновался приговором суда по делу Синдаровского, когда студенчество возмутилось выступлением гр-на Ждан-Пушкина, позволившим себе вне его ведома, требовать от его имени смертной казни “героям” нашумевшего судебного процесса, то я, стремясь практически оформить свое недовольство по поводу недостойного поведения Ждан-Пушкина, как товарища-студента, получил очень много лестных названий: меня называли “черносотенцем”, “монархистом”, “контрреволюционером” и, наконец, “взбунтовавшимся мещанином”. В конце концов я был арестован 30-го марта ГПУ и мне предъявили обвинение по ст. 58 п. 10 УК, ибо я, видите ли, стремился дискредитировать пролетарский суд»* (АУФСБ КК, л. 137–138).

Становится очевидным, что юными бунтарями двигал целый комплекс эмоциональных мотивов (К. Э. Изард небезосновательно относит эмоции к первичной мотивационной системе человека (Изард, 2006, с. 39)). Причем в мотивах учащихся не видно страха перед смертью подсудимых, как и признаков понимания ценности человеческой жизни как высшего блага. Возможно, часть молодежи, особенно девушки, испытывала элементарную жалость и сострадание к заключенным. Но возмущенные студенты вовсе не стремились оправдать «убийц и насильников» или понизить им меру наказания, как это пыталась представить власть. На самом деле они были возмущены действиями чиновников системы правосудия, разрушившими веру молодежи в справедливость и открытость пролетарского суда. Но больше всего их будоражила закулисная интрига, срежиссированная властью. Учащиеся Краснодара негодовали по поводу самозванства общественного обвинителя М. Ждан-Пушкина, выступившего на суде от их имени. Студенты возмущались попыткой коммунистического меньшинства в своих рядах, тесно связанного с властью, управлять массой. *Справедливость* — вот ключевое чувство, которое объединило учащихся в толпу и управляло их бурными переживаниями в те мартовские дни.

Тем временем в дальнейших показаниях Соболевского открываются новые детали происшествия: *«Когда выяснилось, что профком (пединститута — А.Р.) отказывается созывать собрание, появилась мысль собирать подписи сначала для ходатайства перед профкомом о созыве этого собрания, а потом, когда профком категорически отказался от созыва такого собрания, решил собирать подписи под ходатайством перед Верховным Судом о смягчении приговора обвиняемым. <...> решили поставить вопрос о «чубаровцах» на предполагавшемся в субботу 24/III общестуденческом собрании в КСХИ. <...> Предложение было отклонено большинством голосов. <...> В субботу же утром <...> Луганскому я задал три вопроса: 1) Могли ли проф[союзные] и парт[ийные] организации КСХИ уполномочивать т. Ждан-Пушкина на требование высшей меры только на основании предварительного сообщения в газете, т.е. до окончания следствия. Тов. Луганский на этот вопрос ответил отрицательно. 2) Могут ли студенты добиваться от своих студ[енческих] организаций созыва общестуд[енческого] собрания, 3) можем ли мы ходатайствовать перед Верховным Судом о смягчении приговора. На эти два вопроса Луганский дал утвердительный ответ» (АУФСБ КК, л. 123 об.—124).*

Итак, все отчетливее проясняется второй мотив протестного поведения студентов, тесно связанный с первым — *«чрезмерная чувствительность к оскорблениям и пренебрежению»* (Робин, 2007). Низовая власть (на уровне вузовского профкома) не захотела решить элементарную проблему — созвать собрание студентов, — вследствие чего неразрешенное противоречие привело к более масштабным проявлениям протеста. Вместе с тем студенты ведут себя сдержанно. Они не громят профком, не устраивают массовых беспорядков, а пытаются провести

демократическую процедуру сбора подписей для легального созыва студенческого собрания. И только когда профком категорически отказался это разрешить, они были вынуждены начать сбор подписей под обращением в Верховный Суд РСФСР с целью смягчения приговора. Здесь же обнаруживается и высокий авторитет адвоката Н. Н. Луганского в их глазах. Становится очевидным, что часть студенческой молодежи больше верила в справедливость решений высших судебных инстанций и в силу адвокатов, чем в магическую силу «челобитных» в адрес власти. Все это указывает на признаки зарождавшегося цивилизованного правосознания у наиболее сознательной части молодого поколения раннесоветской России.

Намерения протестантов не выглядят как фронда власти. Как следует из материалов следствия, юные бунтари вовсе не пытались бороться с большевиками как с политическим оппонентом. Это был типичный гражданский протест молодежи, начинавшей осознавать свою групповую идентичность. Позже, после «разоблачения» «контрреволюционной» организации Синдаровского, комсомольские активисты сельхозинститута в своих отчетах зафиксировали вольнодумные высказывания некоторых студентов: *«Здесь не столько контрреволюционного, сколько болтовства», «Суд не справедлив, деспотичен. Этот приговор показывает бессилие Советской власти. Мы живем 11 лет после революции, и пора уже перевоспитывать молодежь, хотя бы она и была контрреволюционна. Поэтому власть сама виновата за такие проступки, да и отвечать не за что. Мы должны добиться отмены расстрела. Убитая девушка этого стоит»* (ЦДНИКК, д. 659, л. 70–71). Сегодня эти реплики выглядят невинно, однако в контексте эмоционального режима советской власти того времени вполне могли вызвать «отцовский» гнев с ее стороны. Тем не менее, это были лишь одинокие голоса смельчаков, а не единое мнение всего эмоционального сообщества студентов Краснодара.

«Винить очень строго нельзя»

Случай, который здесь представлен, в меньшей мере актуализирует анализ индивидуальных эмоций отдельных представителей обоих эмоциональных сообществ, нежели понимание групповых эмоций толпы («души толпы»), действующей по психофизиологическим законам нравственного заражения и подражания. Для интерпретации природы экспрессивного группового поведения могут быть исходными, как минимум, два концептуальных положения. Первое: «проявление известного душевного состояния возбуждает такое же состояние у того, кто его наблюдает» (еще Гораций подметил: «как смех вызывает смех, так и слезы вызывают плач»). И второе: «народное сборище не отличается строгим порядком: оно шумно и большая часть душевных движений <...> не может быть испытана всеми, а потому и не находит себе отголоска» (Сигеле, 1998). Иными словами, толпа может как быстро организоваться, демонстрируя эмоциональный отклик на внешний стимул, так и очень быстро распасться от того, что не

все ее члены глубоко прониклись солидарными чувствами. Толпа, управляемая почти исключительно бессознательным, не способна логически рассуждать, но чересчур податлива внушению и восприимчива к впечатлениям, к тому же она консервативна: «предоставленная самой себе, толпа скоро утомляется своими собственными беспорядками и инстинктивно стремится к рабству» (Лебон, 1995).

Вполне вероятно, что чекисты в те мартовские дни негласно *«работали по секторам»* протестующей массы учащихся, внедряя в толпу своих агентов с целью противодействия протесту. Очевидно, не дремала и партийно-комсомольская власть. Но и сами студенты довольно скоро продемонстрировали свою неорганизованность и безропотность. Альтруистический порыв быстро уступил место эгоистическим предпочтениям. Многие, как В. Коваленко, вдруг осознали, что «по глупости» подписались под петицией (Коваленко). Вот что Кумурджи на допросе показывает о своем визите в пединститут: *«Поднявшись в актовыв зал, увидел там собравшихся студентов. <...> После выступления Гнедича, в котором он заявил, что при наличии 1/3 студентов мы без разрешения профкома можем организовать собрание, выступил тов. Досужий (пред[седатель] профкома) и заявил, что на собрании можно остаться лишь под личную ответственность. Студенты разошлись...»* (АУФСБ КК, л. 123 об.-124).

Студенты пединститута так и не набрали необходимого кворума, о котором говорил Гнедич. Из 642 студентов института на собрание пришло всего лишь 100–150 человек, да и те разошлись сразу же после строгого предупреждения председателя профкома. Одно дело — выкрикивать требования из толпы, слиться с массой в одно многоликое тело, и совсем другое — отвечать персонально за свои поступки. Выдвину предположение, что многими студентами и во время протеста, и особенно *после него* двигал сложный эмоциокомплекс, выражавшийся цепочкой чувств *страх–стыд–вина* (Марков, 2008). Конечно, часть учащихся могла испытывать животный страх телесного наказания (о зловещем облике ВЧК-ОГПУ тогда ходило немало легенд в молодежной среде) или отчисления из вуза — страх репрессий. Но в рядах протестующих было немало коммунистов и комсомольцев (как, вероятно, и верующих в Бога студентов), связанных определенными моральными нормами, за нарушение которых им в какой-то момент стало стыдно, и они готовы были искренне повиниться.

В связи с этим интересно посмотреть на реакцию со стороны партийных и комсомольских органов в отношении протестантов. Надо понимать, что в групповых представлениях партийно-комсомольского сегмента раннесоветского общества выступление против приговора *пролетарского суда* считалось недопустимым. Практически все партийные и комсомольские функционеры сакрально верили в то, что Верховный Суд РСФСР ни в коем случае не отменит априорно *справедливый* приговор областного суда. Они были искренне убеждены, что коммунистов и комсомольцев, подписавших петицию против приговора суда, ждут жесткие негативные санкции за отступление от партийной дисциплины.

В течение двух-трех недель после волнений были рассмотрены персональные дела всех участников протеста. Анализ документов первичных партийных и комсомольских организаций раскрывает механизм наведения «порядка» среди коммунистической части студенчества. Обратимся к протоколам мединститута, которые сохранились наиболее полно. Вот фрагмент из текста протокола № 7 общего собрания партийной и комсомольской ячеек от 28 марта 1928 г. С докладом на тему «Линия партии в вопросах быта молодежи» выступил коммунист Сотников. Начал он с ритуальных слов, осуждающих протестовавших коллег, но вскоре его выступление стало походить на речь адвоката. Он умудрился обвинительный по форме пафос своей речи свести по существу к защите протестантов: *«винить очень строго нельзя за их реагирование», «они попадают под влияние антисоветских элементов», «ошибки наши в том, что не было учтено мнение и не направлено в правильное русло».* В прениях по докладу выступило всего 4 человека из 98 присутствовавших. Ни один выступавший не коснулся темы студенческих волнений. Все говорили об эротике, будто обсуждалась «чубаровщина», а не студенческий протест (ЦДНИКК, д. 13, л. 20–20 об.).

Однако через неделю, 4 апреля, состоялось специальное заседание бюро ячейки ВКП (б) мединститута, на котором события 23–25 марта были проанализированы более обстоятельно. Повестка дня заседания была уже сформулирована предельно конкретно: «Разбор товарищей, подписавших заявления о смягчении приговора по делу Мамрака». Среди подписантов петиции оказались члены партбюро В. Ивлев и Н. Шмуров. С их заслушивания и началось заседание бюро: *«Ивлев: По процессу чубаровцев следили, высказывались и делали суждения, но до расстрела не доходили. Мы стояли за встряску. Когда же был вынесен приговор, он всколыхнул наше спокойствие, и мы крайне не поняли данного приговора. Выступление Ждан-Пушкина от 5 тысяч студентов без обсуждения вопроса на собрании нас удивило. Поэтому мы и подали заявление в редакцию «Красного знамени», прося разъяснения. Мы осознали ошибку, но не расцениваем ее как контрреволюцию. Шмуров: Я подписал потому, что пришла комсомолка, и видя подпись напротив т. Ивлева, заявлению не придал большого значения»* (ЦДНИКК, д. 14, л. 11 об.).

Позиция Ивлева принципиальна. Он не предстает сочувствующим защитником обвиняемых, осуждает «чубаровщину», но вместе с тем демонстрирует категоричность своей позиции в отношении справедливости приговора. Его, как и многих учащих, возмутило несоответствие меры наказания сути содеянного. Еще больше он был возмущен несанкционированным выступлением Ждан-Пушкина. Шмуров, напротив, продемонстрировал свою беспринципность, фактически спрятавшись за спиной Ивлева. Студентка Кацкевич заняла промежуточную позицию. Как и Ивлев, она заявила, что ее *«смutilo»* выступление Ждан-Пушкина, но, подобно Шмурову, тут же сманеврировала, сославшись на то, что *«подписала необдуманно».* Далее в дискуссию ввязалась авторитетная группа актива, не ставившая свои подписи под петицией. Поэтому ей было легко

перевести тон заседания с объясняющего на обвиняющий: *«Положенцев: ...подписание петиции легкомысленно, ведь заявление подано против суда. Отсюда есть поползновение против Советской власти. <...> Шмуров знал, что суд приговор не отменит, а поэтому совершенно не следовало и ловить пустоту. Вам, партийцам, непростительно, когда обработка прошла беспартийными, а вы пропеллись в хвосте. Лепорский: <...> Они не знают, что приговор вынес классовый суд, и что высшая мера наказания (расстрел) идет на утверждение Верховного Суда, последний может утвердить или смягчить приговор. Студенческие выступления окружком рассматривает как контрреволюционное выступление. У Ивлева преступление больше всех. Партийное лицо потеряно. Смирнов: Проступок совершен крайне необдуманно. Лично в беседе я не находил в них контрреволюционных выступлений. Конечно, беспартийными оно было использовано. Явление это стихийно, но и в этом есть вина общественных организаций. Суд следовало провести показательно. Товарищией наказать необходимо, но не сурово»* (ЦДНИКК, д. 14, л. 11 об.).

Трудно не заметить классово-партийные стереотипы в высказываниях членов бюро. Несогласие с решением пролетарского суда приравнивалось к выступлению против советской власти. Подписание петиции рассматривалось как позорное явление, «плетение в хвосте» антисоветских элементов и «потеря партийного лица». Одно только выступление секретаря ячейки Смирнова носило адвокатский характер. Он даже попытался перевести критику в сторону «общественных организаций» и организаторов судебного процесса, не признал контрреволюционности в действиях своих коллег, что само по себе в тех условиях было для лидера ячейки довольно рискованным шагом. По результатам этого разбирательства всем партийцам, поставившим подпись под петицией за смягчение приговора, был объявлен строгий выговор с занесением в учётную карточку (Ивлеву — с предупреждением). Большинство из обвиняемых признали свою ошибку и раскаялись в необдуманных действиях. Вскоре проступком коммунистов мединститута заинтересовалась окружная контрольная комиссия ВКП (б). Ее решением Смирнов, Ханаев, Лепорский, Ивлев и Шмуров были исключены из партии, другие коммунисты получили менее строгие взыскания.

Поскольку среди комсомольцев насчитывалось намного больше протестовавших, круг подвергнутых взысканиям там оказался шире. Как (весьма ошибочно) вспоминает В. Коваленко, *«всех, кто подписал, исключили из комсомола»* (Коваленко). На самом деле, на заседании горрайкома ВЛКСМ 31 марта 1928 г. по комсомольской организации мединститута были исключены из ВЛКСМ 8 студентов, а также коммунист Ивлев, работавший в комсомоле (ЦДНИКК, д. 27, л. 20). На заседании бюро горрайкома комсомола по пединституту 10 апреля были наказаны тоже 8 комсомольцев. Пятеро самых активных были исключены из ВЛКСМ, трое «попавших под влияние во время протеста» получили строгий выговор с предупреждением (ЦДНИКК, д. 27, л. 22). Видимо, посчитав эти меры

воздействия недостаточными, бюро горрайкома обратилось к руководителям школ и вузов с просьбой об отчислении из них беспартийных подписантов.

Примечательно, что вскоре некоторым исключенным из комсомола смягчили взыскание, заменив его строгим выговором (ЦДНИКК, д. 27, л. 22, 28). Однако все «засветившиеся» в акциях протеста учащиеся надолго были взяты на особый учет как политически неблагонадежные. Многим участникам протеста в течение года после тех событий были объявлены строгие взыскания. Участие в движении протеста учитывалось и в ходе массовой «чистки» партийно-комсомольского состава вузов весной 1929 г. Тогда только по мединституту внеочередной «чистке» подверглось 89 комсомольцев. Поскольку это был уже второй эшелон участников протеста, выявленный позже по доносам, «чистка» прошла относительно мягко: из комсомола исключили только 13 человек, еще 7 выбыло по возрасту или механически за потерю связи с организацией. Из остальных 69 членов только 27 получили взыскания комсомола.

Вопреки ожиданиям партийных функционеров, Верховный Суд РСФСР в кассационном порядке отменил расстрельный приговор «краснодарским чубаровцам» и назначил им более мягкие наказания. Нет оснований полагать, что на решение суда высшей инстанции повлиял студенческий протест. Очевидно, в этой чисто юридической коллизии профессиональный успех оказался на стороне адвокатов. В конечном счете, учитывая дальнейший перевод этой истории с сугубо криминальной плоскости в «контрреволюционную», массовый протест учащихся и отмена расстрела усугубили положение Синдаровского, Мамрака и Гавриленко, которыми плотно занялось ОГПУ. Вскоре перед краевым судом предстали уже 22 юных «контрреволюционера», среди которых по «случайному совпадению» оказались почти все активные участники протеста.

Заключительные размышления

Итак, почему же сотни учащихся в Краснодаре столь эмоционально откликнулись на призыв к протесту? Представляется, что здесь магическим образом совпали несколько факторов, приведших к такому эмоциональному напряжению: личная харизма Синдаровского, несправедливость приговора, ошибки организаторов судебного процесса. Вместе с тем, скорее это были внешние поводы. Глубинные причины происшедшего кроются, на мой взгляд, в протестном потенциале учащейся молодежи 1920-х (Рожков, 1999а; Рожков, 1999б; Rittersporn, 2001), остро реагировавшей на несправедливость власти и все увеличившийся разрыв в ее действиях между идеалами социализма и советской реальностью. Несмотря на отсутствие в СССР подлинной автономии вузов и широкое «наступление на университеты» (Дэвид-Фокс, 2012), отдельные элементы дореволюционной вузовской демократии к концу 1920-х еще сохранялись. Студенчество в этом казусе показало себя активным *субъектом* реальных взаимоотношений власти и молодежи, способным отстаивать свои права в рамках собственных

представлений о советской демократии. Однако по масштабам, продолжительности и характеру требований этот протест несопоставим с бунтами студенческих кампусов в 1960-е гг. в Западной Европе и США, а также с антисоветскими акциями студентов в Москве, Петрограде (Ленинграде), Харькове в первой половине 1920-х гг. и в Тбилисском госуниверситете (1956).

Случай в Краснодаре показал, что высшая судебная власть, в отличие от местной, пользовалась у части молодежи бóльшим доверием. Партийная власть и органы ОГПУ оказались не готовы к такой конфигурации взаимоотношений с молодежью, при которой власть теряла патерналистский статус ригористичного «отца». Власть испугалась, что молодежь, почувствовав себя единой и сильной, в любой момент может выступить против власти. Поэтому она экспонировала свое возмущение «антисоветскостью» и «контрреволюционностью» требований протестантов, пытаясь перефокусировать свои аффекты «на пугающем образе врага» (Булдаков, 2012). Эмоциональные ценности власти и части студенческой молодежи разместились в разных системах координат. Если протест студентов можно условно интерпретировать в терминологии К. Бруннера как атрибут «открытого общества», то в действиях власти явно усматривается стремление к построению «морального общества» (Бруннер, 1993). Эти две разные по сути культуры демонстрировали различие в эмоциональных нормах и оценках, причем власть подала молодежи явный сигнал к изменению эмоциональных стандартов в сторону «строгости чувств». Эмоциональный репертуар протестующих студентов был достаточно разнообразен — от возмущения несправедливостью в начале волнений до страха прослыть контрреволюционерами на финишной стадии протеста.

Власть в лице партийных и чекистских лидеров явно опасалась учащейся молодежи. У молодежи, в свою очередь, был физический страх перед всемогуществом ОГПУ. Между тем по манифестациям страха с обеих сторон трудно установить определенно, чей страх «страшнее». Важнее заметить различия в *природе* взаимного страха. Если фобическими мотивами у молодежи, прежде всего, была иррациональная боязнь пыток в «застенках ЧК-ГПУ» (физиологический мотив избегания боли), страх за близких и тревога за свою карьеру (рациональные мотивы безопасности, аффиляции и достижения), то страхи большевиков базировались преимущественно на гипотетической боязни потерять свое влияние на молодежь (рациональный мотив власти). Иными словами, страх власти в отношении части молодежи как потенциальной угрозы для самой власти был сконструирован *когнитивно*, тогда как природа молодежного страха в отношении власти представляла собой *аффективно-когнитивную* структуру.

Отталкиваясь от идеи П. Стернс и К. Стернс о влиянии класса, гендера и возраста на эмоциональный опыт (Винницкий, 2012), трудно также не заметить асимметрию в эмоциональных проявлениях молодежи и власти. Эмоциональные нормы номенклатурного класса приходили в явное противоречие с эмоциональными нормами возрастного класса молодежи. У краснодарских студентов

мы наблюдаем чистоту помыслов, жажду справедливости, эмоциональную подвижность; у партийно-чекистских функционеров — ригидные представления о нормах поведения молодежи, запрет на проявление эмоций. Весьма конструктивной гипотезой в этом плане представляется идея Н. Дэвис о том, что бунты следует прочитывать как ритуалы очищения, попытки избавить сообщество от нечистоты. П. Бёрк резонно предполагает в связи с этим, что действия бунтарей «помогали конструировать сообщество, драматизируя эксклюзию аутсайдеров» (Бёрк, 2015).

Список использованных источников

1. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
2. Ф. М-1. Оп. 1. Д. 60.
3. Краснодарские чубаровцы. Красное знамя (Краснодар). 1928. 1 февраля.
4. Архив Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю (АУФСБ КК).
5. Д. П-71049.
6. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК).
7. Ф. 8. Оп. 1. Д. 659.
8. Ф. 787. Оп. 1. Д. 13.
9. Ф. 787. Оп. 1. Д. 14.
10. Ф. 1994. Оп. 1. Д. 27.
11. Центр документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО).
12. Ф. 7. Оп. 1. Д. 806.
13. Коваленко В. И. Воспоминания «Моя жизнь». Фотокопия фрагмента рукописи. Личный архив А. Ю. Рожкова.

Библиографический список

1. Бёрк, П. (2015). *Что такое культуральная история?* М.: ГУ-ВШЭ.
2. Бруннер, К. (1993). Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества. *THESIS*, 3, 51–72.
3. Булдаков, В.П. (2012). *Утопия, агрессия, власть: Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг.* М.: РОССПЭН.
4. Винницкий, И. (2012). Заговор чувств, или Русская история на «эмоциональном повороте»: Обзор работ по истории эмоций. *Новое литературное обозрение*, 5 (117), 441–460.
5. Гинзбург, К. (2004). *Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история*: сб. ст. М.: Новое издательство, 2004, 189–241.
6. Дэвид-Фокс, М. (2012). Наступление на университеты и динамика сталинского Великого перелома (1928–1932 годы). *Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской Империи — СССР (конец 1880-х — 1930-е годы)* (с. 523–563). М.: Новое литературное обозрение.
7. Изард, К.Э. (2006). *Психология эмоций*. СПб.: Питер.

8. Козлов, В.А. (2006). *Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953–1985 гг.* М.: Олма-Пресс.
9. Лебина, Н.Б. (1999). *Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы.* СПб: Летний сад.
10. Лебон, Г. (1995). *Психология народов и масс.* СПб.: Макет.
11. Марков, А.В. (2014). *1980: год рождения повседневности.* М.: Европа.
12. Марков, Б.В. (2008). *Культура повседневности.* СПб.: Питер.
13. Мильчаков, А. (2008). *Задачи союзного руководства и самокритика.* М.: Молодая гвардия.
14. Николаи, Ф.В., Хазина, А.В. (2015). История эмоций и «аффективный поворот»: проблемы диалога. *Диалог со временем*, 50, 97–115.
15. Плампер, Я. (2010). Эмоции в русской истории // *Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций*: сб. ст. (с. 11–36). М.: Новое литературное обозрение.
16. Робин, К. (2007). *Страх: История политической идеи.* М.: Прогресс-традиция.
17. Рожков, А.Ю. (2004). Кубанская молодежь и ОГПУ: «Дело Синдаровского» (Опыт микроисторического исследования). *Другие времена*: сб. ст. (с. 188–213). Краснодар: КубГУ.
18. Рожков, А.Ю. (1999). Бунтующая молодежь в нэповской России. *Клио*, 1, 139–154.
19. Рожков, А.Ю. (1999). Молодой человек 20-х годов: протест и девиантное поведение. *Социологические исследования*, 7, 107–114.
20. Рожков, А.Ю. (2015). Эмоциональные переживания юноши в экстремальной жизненной ситуации (на материалах нарративов арестанта ОГПУ). *Психология. Экономика. Право: научно-образовательный журнал*, 2, 42–54.
21. Сигеле, С. (1998). *Преступная толпа.* М.: Ин-т психологии РАН.
22. Стейнберг, М. (2010). Меланхолия Нового времени: дискурс о социальных эмоциях между двумя революциями. *Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций*: сб. ст. (с. 202–226). М.: Новое литературное обозрение.
23. Февр, Л. (1991). *Бои за историю.* М.: Наука.
24. Фицпатрик, Ш. (2014). Счастье и тоска: исторический очерк о выражении эмоций в предвоенной России (фрагменты). *Политическая лингвистика*, 1 (47), 283–287.
25. *Чубаровщина: По материалам судебного процесса (1927).* М.; Л.: Государственное издательство.
26. Хмелевская, Ю.Ю. (2012). «История эмоций» в современной историографической парадигме. *Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы.* (с. 452–460). М.: Изд-во ЛКИ.
27. Янг, Г. (2010). Эмоции, политика оспаривания и общественная память: из истории новочеркасской трагедии. *Российская империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций*: сб. ст. (с. 457–479). М.: Новое литературное обозрение.
28. Naiman, E. (1990). The Case of Chubarov Alley: Collective Rape, Utopian Desire and Mentality of NEP. *Russian History*, 1, 1–30.
29. Reddy, W. (2001). *The Navigation of Feeling. A Framework For the History of Emotions.* Cambridge: Cambridge University Press.

30. Rittersporn, G. (2001). Between Revolution and Daily Routine: Youth and Violence in the Soviet Union in the Interwar Period. *Sowietjugend 1917–1941: Generation zwischen Revolution und Resignation*. (p. 63–82). Essen.
31. Rosenwein, B. (2006). *Emotional Communities in the Early Middle Ages*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
32. Rosenwein, B. (2010). Problems and Methods in the History of Emotions. *Passions in Context I*, 1, 2–32.

Статья поступила в редакцию 27.05.2016.

.....

STUDENTS' PROTEST IN KRASNODAR IN 1928: EMOTIONAL NORMS OF THE POWER AND YOUTH

Rozhkov A. Yu.

Rozhkov Alexander Yurievich, Kuban State University, 350040, Russia, Krasnodar region,
Krasnodar, str. Stavropol'skaja, 149. E-mail: avro14@mail.ru.

The article refers to the description and interpretation of a student mass protest that took place in Krasnodar in March 1928 in connection with the sentence of the court on the "Sindarovskiy's case". The data sources are the OGPU papers, documents of the party and Komsomol institutions, newspaper articles and memoirs of the participants. The case is analyzed with research "optics" of the cultural history of the emotions, which lets us understand the past as the world of feelings and emotional experiences. The author pays his attention to the feeling system of two "emotional communities" involved into those events — the official authorities (party, trade union, Komsomol functionaries, law enforcement and management of higher education institutions) and students (with all the peculiarities of their small communities in each educational institution).

An analysis of the official discourse of power, the discussions at the party and Komsomol meetings and students' prejudicial evidence show that the young people considered the highest judiciary, but not the local one, to be credible. The Party power and the OGPU institutions were not willing to lose the status of a paternalistic "strict father" in the relationship with the youth. Emotional values of the authorities and a part of the students were placed in different coordinate systems. These two different types of culture displayed some differences in emotional evaluations, whereby the official authorities tried to make the youth change the direction of emotional standards and focus on "strict feelings". It is necessary to admit that the nature of mutual fears was different. The fear of the official authorities was cognitive whereas the youth' one had an affective-cognitive structure.

Keywords: Krasnodar, "Sindarovskiy's case", "chubarovtsy", the student protest, "emotional communities".

References

33. Burke, P. (2015). *Chto takoe kul'tural'naja istorija?* [What is cultural history?] Moscow: Higher School of Economics
34. Brunner, K. (1993). Predstavlenie o cheloveke i koncepcija sociuma: dva podhoda k ponimaniju obshhestva [The perception of man and the conception of society: two approaches to understanding society]. *THESIS*, 3, 51–72.
35. Buldakov, V. P. (2012). *Utopija, agressija, vlast': Psihosocial'naja dinamika postrevoljucionnogo vremeni. Rossija, 1920–1930 gg.* [Utopia, aggression and power: Psychosocial dynamics of the post-revolution period. Russia, 1920–1930]. Moscow: ROSSPEN Publishers.

36. Vinnitskiy, I. (2012). Zagovor chuvstv, ili Russkaja istorija na «jemocional'nom povorote»: Obzor rabot po istorii jemocij [Conspiracy of feelings, or the Russian history at an “emotional turn”: Review of papers on the history of emotions]. *Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Observer], 5 (117), 441–460.
37. Ginzburg, C. (2004). *Mify-jemblemy-primety: Morfologija i istorija* [Myths, Emblems, Clues: Morphology and History]: collected papers. Moscow: New Publishers, 2004, 189–241.
38. David-Fox, M. (2012). Nastuplenie na universitety i dinamika stalinskogo Velikogo pereloma (1928–1932 gody) [The assault on the universities and the dynamics of Stalin's ‘great break (1928–1932)]. *Raspisanie peremen: Oчерki istorii obrazovatel'noj i nauchnoj politiki v Rossijskoj Imperii — SSSR (konec 1880-h — 1930-e gody)* [Schedule of changes. Essays on history of education and scientific policy in the Russian Empire — USSR (late 1880s — 1930s)]. Moscow: New Literary Observer, 523–563.
39. Izard, C. E. (2006). *Psichologija jemocij* [The Psychology of Emotions]. St. Petersburg: Piter.
40. Kozlov, V. A. (2006). *Neizvestnyj SSSR. Protivostojanie naroda i vlasti 1953–1985 gg.* [Unknown USSR. Confrontation between the people and power in 1953–1985]. Moscow: Olma-Press.
41. Leбина, N. B. (1999). *Povsednevnaja zhizn' sovetskogo goroda: Normy i anomalii. 1920–1930 gody* [Daily life of the Soviet people: typical things and anomalies, 1920–1930]. St. Petersburg: Letnij sad.
42. Le Bon, G. (1995). *Psichologija narodov i mass* [The Crowd: A Study of the Popular Mind]. St. Petersburg: Maket.
43. Markov, A. V. (2014). *1980: god rozhdenija povsednevnosti* [1980: the year of the daily routine birth]. Moscow: Evropa.
44. Markov, B. V. (2008). *Kul'tura povsednevnosti* [Culture of daily routine]. St. Petersburg: Piter.
45. Milchakov, A. (2008). *Zadachi sojuznogo rukovodstva i samokritika* [Tasks of the Union leaders and criticism]. Moscow: Molodaya Gvardiya.
46. Nicolai, F. V., Khazina, A. V. (2015). Istorija jemocij i “affektivnyj povorot”: problemy dialoga [History of emotions and “emotional turn”: issues of dialogue]. *Dialog so vremenem* [Dialogue with Time], 50, 97–115.
47. Plumper, J. (2010). Jemocii v russkoj istorii [Emotions in the Russian history]. *Rossijskaja imperija chuvstv: Podhody k kul'turnoj istorii jemocij* [Russian Empire of emotions: Approaches to the cultural history of emotions]: collected papers. (p. 11–36). Moscow: New Literary Observer.
48. Robin, C. (2007). *Strah: Istorija politicheskoi idei* [Fear: The history of a political idea]. Moscow: Progress-Traditsiya.
49. Rozhkov, A. Yu. (2004). Kubanskaja molodezh' i OGPU: “Delo Sindarovskogo” (Opyt mikroistoricheskogo issledovanija) [Kuban youth and the Joint State Political Directorate: “Sindarovskiy's Case” (Microhistorical research)]. *Drugie vremena* [Other Times]: collected papers. (p. 188–213). Krasnodar: Kuban State University.
50. Rozhkov, A. Yu. (1999). Buntujushhaja molodjozh' v njepovskoj Rossii [Rebelling youth in the NEP Russia], *Clio*, 1, 139–154.

51. Rozhkov, A. Yu. (1999). Molodoy chelovek 20-h godov: protest i deviantnoe povedenie [A young person of 1920: protest and deviant behavior]. *Sociologicheskie issledovaniya* [Sociological research], 7, 107–114.
52. Rozkov, A. Yu. (2015). Jemocional'nye perezhivaniya junoshi v jekstremal'noj zhiznenoj situacii (na materialah narrativov arestanta OGPU) [Youth's emotional experience in an extreme life situation (based on narratives of a prisoner of the Joint State Political Directorate)]. *Psihologija. Jekonomika. Pravo: nauchno-obrazovatel'nyj zhurnal* [Psychology, Economics and Law: Scientific and Educational Journal], 2, 42–54.
53. Sighele, S. (1998). *Prestupnaja tolpa* [The criminal crowd]. Moscow: Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences.
54. Steinberg, M. (2010). Melanholija Novogo vremeni: diskurs o social'nyh jemocijah mezhdum dvumja revoljucijami [Melancholy of the Modern Era: Discourse on social emotions between two revolutions]. *Rossijskaja imperija chuvstv: Podhody k kul'turnoj istorii jemocij* [Russian Empire of emotions: Approaches to the cultural history of emotions]: collected papers. (p. 202–226). Moscow: New Literary Observer.
55. Febvre, L. (1991). *Boi za istoriju* [Fights for history]. Moscow: Nauka.
56. Fitzpatrick, S. (2014). Schast'e i toska: istoricheskij ocherk o vyrazhenii jemocij v predvoennoj Rossii (fragmenty). [Happiness and toska: A study of emotions in 1930s Russia (fragments)]. *Politicheskaja lingvistika* [Political linguistics], 1 (47), 283–287.
57. Chubarovshhina: *Po materialam sudebnogo processa* ["Chubarov" hooliganism: On materials of the legal process], (1927). Moscow, Leningrad: State Publishing House.
58. Khmelevskaya, Yu. Yu. (2012). "Istorija jemocij" v sovremennoj istoriograficheskoj paradigme ["History of emotions" in the modern historiographical paradigm]. *Istoricheskaja nauka segodnja: Teorii, metody, perspektivy* [Modern Historical Science: Theories, Methods, Prospects]. (p. 452–460). Moscow, LKI Publishers, 452–461.
59. Young, G. (2010). Jemocii, politika osparivaniya i obshhestvennaja pamjat': iz istorii novočerchasskoj tragedii [Emotions, policy of dispute and social memory: From the history of the Novočerchassk tragedy]. *Rossijskaja imperija chuvstv: Podhody k kul'turnoj istorii jemocij* [Russian Empire of emotions: Approaches to the cultural history of emotions]: collected papers. (p. 457–479). Moscow: New Literary Observer.
60. Naiman, E. (1990). The Case of Chubarov Alley: Collective Rape, Utopian Desire and Mentality of NEP. *Russian History*, 1, 1–30.
61. Reddy, W. (2001). *The Navigation of Feeling. A Framework For the History of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
62. Rittersporn, G. (2001). Between Revolution and Daily Routine: Youth and Violence in the Soviet Union in the Interwar Period. *Sowietjugend 1917–1941: Generation zwischen Revolution und Resignation*. (p. 63–82). Essen.
63. Rosenwein, B. (2006). *Emotional Communities in the Early Middle Ages*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
64. Rosenwein, B. (2010). Problems and Methods in the History of Emotions. *Passions in Context I*, 1, 2–32.